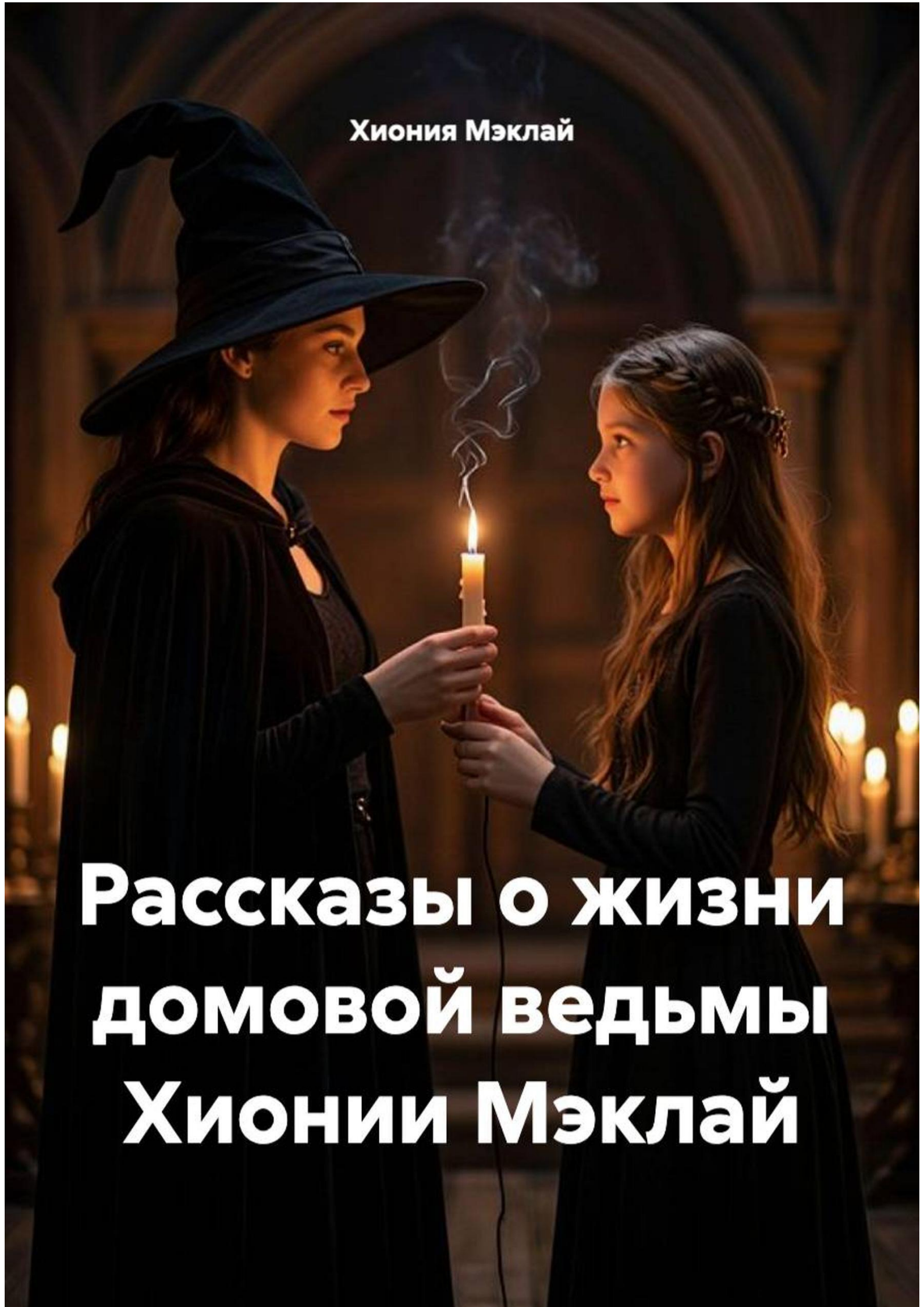


A woman wearing a tall, black, pointed witch's hat and a black cloak stands on the left, looking towards a young girl on the right. The girl has long, wavy brown hair and is wearing a dark, long-sleeved dress. They are both holding a single lit candle between them, with smoke rising from the flame. The background is a dimly lit cathedral with large stone arches and several other lit candles in the distance, creating a warm, golden light.

Хиония Мэклай

**Рассказы о жизни
домовой ведьмы
Хионии Мэклай**

Хиония Мэклай

**Рассказы о жизни домовой
ведьмы Хионии Мэклай**

«Автор»

2026

Мэклай Х.

Рассказы о жизни домовой ведьмы Хионии Мэклай /
Х. Мэклай — «Автор», 2026

Домовая ведьма Хиония Мэклай с детства постигает магию порядка и заботы, а позже обретает семью — встречает фею Маркуса, и вместе они создают дом, где уживаются любовь и тяга к тайнам. Их дочь Мира, не имея привычной силы, владеет редким даром нити — способностью связывать. В школе она взрослеет и сближается с Тео — аристократом из рода хранителей знаний. Первый бал становится для Мира рубежом: в мерцании свечей она ощущает свою силу и тонкую связь с Тео. Но равновесие хрупко.

© Мэклай Х., 2026

© Автор, 2026

Хиония Мэклай

Рассказы о жизни домово́й ведьмы Хионии Мэклай

Главные герои.

Хиония. Хиония Мэклай — домовая ведьма с яркой, запоминающейся внешностью: длинные, струящиеся алые волосы свободно ниспадают волнами, обрамляя лицо и контрастируя с тёмной палитрой её наряда. В её взгляде — спокойная уверенность и лёгкая усталость, будто за плечами уже немало прожитых дней и решённых бытовых (а порой и магических) задач. Её платье — сочетание строгости и колдовской эстетики: глубокий чёрно-бордовый оттенок, корсетная основа, изящная золотая вышивка по краям и декоративные подвески, намекающие на ритуальное или обережённое значение. Высокий разрез и свободный крой плаща придают силуэту динамику — в таком наряде удобно и стоять у доски, объясняя тонкости варки зелий, и наклоняться над грядкой в саду, выбирая нужную траву. Образ дополняют высокие сапоги с тонкой шнуровкой — практичный выбор для ведьмы, которой приходится много ходить: то по коридорам школы, то по саду, то по хозяйственным уголкам. В характере Хионии чувствуется приземлённая мудрость: она не стремится к великим свершениям, её сила — в умении навести порядок, починить сломанное, сварить нужное зелье и подсказать, как жить в ладу с домом и его магией. Хиония чувствует себя уверенно и в освещённом классе, и в тёмном саду под луной — ведь её магия рождается из самого понятия «дома», из заботы и привычки всё держать под контролем.

Маркус. Фея с утончёнными, почти хрупкими чертами лица и лёгкой печалью во взгляде. Его тёмно-русые волосы свободно струятся волнами, обрамляя лицо и ниспадая чуть ниже плеч; отдельные пряди мягко ложатся на виски, придавая облику непринуждённость. Заострённые уши выдают его эльфийскую природу, а россыпь едва заметных веснушек на переносице и щеках добавляет образу человечности и теплоты. Глаза тёплого янтарного оттенка будто хранят в себе отголоски древних тайн — в них читается и мудрость, и усталость от вечных поисков равновесия между светом и тьмой. За спиной — крылья нежного розового оттенка, данные ему от рождения: они не выглядят мощными, но в их хрупкой красоте таится особая магия, отличающая Маркуса от сородичей. Его магия не призвана поднимать мёртвых в виде бездушных марионеток; он умеет призывать и ненадолго воплощать духи, вести с ними диалог, просить о помощи или узнавать забытые истины. Эта способность делает его одновременно ценным союзником и изгнанником: одни ищут его совета, другие боятся его связи с потусторонним. В его действиях нет жажды власти — лишь стремление понять, как унять боль утраты и сохранить хрупкий баланс между двумя мирами.

В учебных делах почти не участвует. Он не любит занудства и искренне считает, что детство должно быть про радость, а не про бесконечные упражнения. Зато он — главный союзник Миры в побеге от рутины. Если Хиония назначает ещё один урок, Маркус может тихонько шепнуть: «Давай я тебя заберу на ярмарку, там столько странных вещей, что хоть целую книгу пиши». И Мира тут же хватается за куртку. С папой она ездит на городские праздники, на прогулки по старым кварталам, где можно разглядывать витражи и собирать необычные камушки для своих поделок. Он не заставляет её учиться, зато учит замечать детали: как свет ложится на мостовую, как ветер шевелит вывески, как пахнет свежий хлеб из пекарни — и всё это Мира потом превращает в свои маленькие шедевры.

Мила. Длинные русые волосы — она то заплетает их в косу, то распускает, то пытается сделать «как у взрослых», но в итоге получается весёлый вихрь. Глаза — ярко голубые, в них то светится любопытство, то прячется обида, то загорается азарт. Заострённые эльфийские

уши подчёркивают её принадлежность к древнему народу, а изящные черты лица придают облику хрупкость — обманчивую, ведь за внешней нежностью скрывается внутренняя сила. Она по-хорошему ленива: если можно сесть и понаблюдать, она выберет это вместо беготни. Зато если Мира берётся за дело — это обязательно что-то, где можно творить руками. Она обожает рукоделие: плетёт фенечки, собирает крошечные амулеты из бусин и камешков и даже пробует делать бумажные фонарики. Мира — дочь Хионии и Маркуса, и в её характере угадываются черты обоих родителей: от матери ей досталась чуткость и умение видеть скрытое, а от отца — стойкость и способность не отступать перед трудностью. При этом у неё нет привычной магической силы, но есть редкий дар — дар нити. Он не проявляется в ярких вспышках или сокрушительных чарах: его суть — в соединении и раскрытии. Мира способна связывать разрозненное, сплести новые пути там, где, казалось бы, дороги нет. Её нити могут вытянуть наружу то, что пряталось глубоко внутри — тайные чувства, забытые воспоминания, подавленные истины. Она не ломает преграды, а распутывает узлы, позволяя вещам обрести своё место. Этот дар делает её незаменимой там, где нужны не сила и напор, а тонкое понимание связей между людьми, событиями и смыслами. На голове — веночек, украшенный тонкой цепочкой с подвеской; в ушах — длинные серьги с бирюзовыми камнями, на шее — нежное ожерелье, перекликающееся с венком.

Взрослая Мира. Она не стремится привлекать к себе лишнее внимание, но знает себе цену — это манера поведения зрелой личности, привыкшей полагаться на собственный опыт. Способна к эмпатии и мягкому общению. При необходимости она способна проявить непреклонность и защитить свои убеждения или близких. Плавные линии силуэта, изящные украшения и мягкие жесты говорят о врождённой деликатности: она действует обдуманно, избегая грубости и резких решений.

Тео. Тео — молодой аристократ из древнего рода хранителей знаний, чьё имя шепчут в коридорах тайных архивов. В его жилах течёт кровь тех, кто веками оберегал запретные манускрипты, и потому с детства он привык к тишине библиотек и тяжести ответственности. Взгляд у Тео внимательный, чуть отстранённый — так смотрят люди, привыкшие замечать детали, способные спасти жизнь. В его манерах — смесь аристократической сдержанности и внутренней собранности: он готов в любой момент перейти от спокойного созерцания к решительному действию. Характер Тео — сплав холодного расчёта и скрытой преданности идеалам. Он не из тех, кто бросается в бой с открытым забралом: его оружие — знание, интуиция и умение предугадывать ходы противника. При этом за внешней невозмутимостью прячется живое любопытство и редкая способность сочувствовать тем, кто оказался втянут в чужие интриги.

Его бирюзовые волосы чуть взъерошены, будто ветер успел поиграть с ними. А в светло-зелёных глазах мелькает то ли волнение, то ли предвкушение чего-то важного. Повзрослевший Тео: теперь это не юноша, затерявшийся среди книжных полок, а уверенный в себе властитель, чья утончённость обрела вес и силу. Наряд Тео — сплав церемониальной роскоши и продуманной символики: белоснежные ткани, золотая вышивка и синие камни подчёркивают его статус, а сложные узоры на одежде напоминают древние письмена — словно сам костюм хранит знания его рода. Взгляд повзрослевшего Тео стал глубже: в нём всё ещё есть та самая внимательность к мелочам, но теперь она приправлена опытом. Он не просто наблюдает — он оценивает, просчитывает, удерживает равновесие между милосердием и необходимостью быть твёрдым. Лёгкая полуулыбка говорит о том, что он научился скрывать тревоги за внешней невозмутимостью, но в разговоре с близким человеком эта маска может на мгновение сползти, обнажив всё ту же искреннюю преданность своим идеалам.

Глава: От первого крика до выпускного

Хиония Мэклай появилась на свет в промозглый октябрьский вечер, когда дождь хлестал по крышам так, будто хотел смыть с города всю его усталость. Родильный дом стоял на окра-

ине, в районе, где дома жались друг к другу, как будто искали тепла. Семья не была богатой — скорее, отчаянно бедной. Отец ушёл ещё до её рождения, оставив после себя только старую куртку в шкафу и неловкое молчание, которое никто не решался нарушить. Мама, Лира, работала поваром на судне, уходила в рейсы на недели, а то и месяцы, и возвращалась с усталыми глазами и парой апельсинов в сумке — это и были главные подарки.

Первые годы Хионии складывались из обрывков: запах сырого белья в коридоре детского сада, скрип кровати в комнате, где она спала на раскладушке, и голос бабушки, тихий, но твёрдый: «Не реви, ты сильная». Бабушка стала её якорем. Именно она забирала Хионию из сада, грела суп на плите, штопала колготки и говорила: «Ты у меня умница, ты всё сможешь». Но даже её сил не хватало, чтобы заполнить пустоту, которую оставляла мать, исчезающая с горизонтов вместе с уходящими кораблями.

К трём годам Хиония уже знала, что не стоит ждать многого. В одном из садиков её оставляли на круглосуточное пребывание — не потому что так хотели, а потому что некуда было девать. Она помнила, как однажды проснулась ночью в чужой темноте, не понимая, где она, и от страха не могла даже плакать — только тихо скулила, пока не пришла нянечка и не погладила её по голове. Эти минуты застыли в памяти, как льдинки: холод простыни, чужой запах комнаты, ощущение, что тебя забыли.

В четыре года она снова сменила садик — теперь ближе к дому бабушки. Там было светлее, и воспитательница, тётя Марина, пекла с детьми печенье, и Хиония впервые почувствовала, что может быть частью чего-то тёплого. Но это чувство было хрупким, как тонкий лёд: стоило маме вернуться из рейса, как всё менялось. Лира пыталась быть хорошей матерью, но у неё не получалось. Она не умела сидеть на месте, не умела тихо сидеть рядом и слушать, как ребёнок рассказывает про день. Её мир был в движении, в шуме корабельной кухни, в запахе жареной рыбы и пара. Дома она становилась чужой, будто заблудившейся в собственной квартире.

А когда Хионии исполнилось примерно пять лет, в доме поселилось ещё одно, тихое и страшное присутствие — алкоголь. Сначала это были редкие вечера, когда мама возвращалась из рейса и, уставшая до изнеможения, выпивала стакан чего-то крепкого, чтобы «снять напряжение». Хиония не понимала, что происходит, но чувствовала, как меняется воздух в комнате: он становился густым, тяжёлым, в нём будто растворялась привычная теплота. Потом такие вечера стали чаще. Лира всё чаще не могла найти в себе силы на обычные материнские дела — на то, чтобы выслушать, обнять, просто посидеть рядом. Вместо этого она уходила в себя, становилась резкой, раздражительной, а потом и вовсе равнодушной.

Тот вечер Хиония запомнила особенно чётко. Всё началось с мелочи: Лира уронила чашку, та разбилась, и звук осколков будто сорвал с мамы все тормоза. Она начала кричать — громко, резко, слова летели, как острые камешки, и каждое попадало точно в самое уязвимое место. Бабушка пыталась её утихомирить, говорила спокойно, но голос её тонул в этом крике. Хиония сжалась в комочек на своём маленьком стуле, прижимая к груди потрёпанного зайца и куклу с облупившейся краской. Ей хотелось стать невидимой, раствориться в тени, слиться с углом комнаты.

Но в какой-то момент крик стал невыносимым, воздух сделался почти осязаемым, густым от напряжения, и Хиония вдруг встала. Молча, дрожащими руками она схватила ещё пару игрушек — маленького деревянного коня и потрёпанную плюшевую лисичку, — и тихо, почти на цыпочках, вышла из квартиры. Дверь щёлкнула, и этот тихий звук показался ей громче маминого крика.

На улице было неожиданно тепло. Пахло пылью, нагретым асфальтом и далёкой грозой. Хиония шла по тротуару, сжимая игрушки так крепко, что пальцы побелели. Она не знала, куда идёт, просто подальше от этого крика, от этой тяжести, которая давила на грудь. Она

села на бордюр у соседнего подъезда, прижала зайца к щеке и тихо заплакала, но даже слёзы казались сухими — будто горе не хотело выходить наружу.

Именно там её и нашла тётя Мира — двоюродная сестра матери. Она возвращалась с работы, шла по двору, привычно оглядывая знакомые места, и вдруг заметила маленькую фигурку в выцветшей кофточке. Подошла, присела рядом, не хватая, не дёргая, просто тихо спросила: «Что случилось, солнышко?» И Хиония, вместо того чтобы ответить, вдруг уткнулась ей в колени и заплакала по-настоящему — горько, всхлипывая, с дрожью во всём теле.

Мира не стала задавать лишних вопросов. Просто накинула на плечи девочки свой лёгкий шарф, взяла её за руку и повела к себе. В её квартире пахло свежей выпечкой и лавандой, на подоконнике стояли горшки с геранью, а на стене висела карта мира с воткнутыми булавками — Мира любила мечтать о путешествиях. Она напоила Хионию тёплым молоком с мёдом, усадила на диван, укрыла пледом и сказала: «Сегодня ты просто посидишь, отдохнёшь. А завтра посмотрим, что делать». И впервые за долгое время Хиония почувствовала, что её не торопят, не требуют быть сильной, не просят «не реветь». Ей просто разрешили быть маленькой и испуганной.

Наутро Мира поговорила с бабушкой, и та приехала, тихая, с потемневшими от тревоги глазами. Они не стали устраивать разбирательств, не кричали друг на друга — просто тихо решили, что Хионии сейчас лучше быть рядом с бабушкой. А Мира ещё долго потом заглядывала к ним, приносила то коробку конфет, то книжку с картинками, то просто пакет свежих булочек. И каждый раз, видя Хионию, улыбалась и говорила: «Ну что, как дела у моей храброй девочки?» И в этих словах не было жалости — только тепло и уверенность, что всё понемногу наладится.

При этом, какими бы ни были мама и бабушка, Хиония всегда любила их — по-своему, крепко, без условий. К бабушке она тянулась всем сердцем: любила сидеть рядом, пока та штопала или перебирала старые фотографии, любила слушать её тихие рассказы про прошлое, про то, как в молодости она ездила на поезде через полстраны и как однажды спасла котёнка из-под колёс. От бабушки пахло ванилью и старым деревом, и это был запах дома — настоящего, пусть и маленького, пусть и бедного, но своего.

А маму Хиония любила иначе — тревожно, с надеждой, будто каждый мамин спокойный вечер был маленьким чудом, которое нужно беречь. Она помнила редкие моменты, когда Лира возвращалась из рейса трезвой, уставшей, но настоящей: садилась на пол рядом с Хионией, помогала собирать рассыпавшиеся кубики, смеялась над её детскими шутками и говорила: «Ты у меня такая умница». Хиония хранила эти минуты, как драгоценные камушки, и даже когда всё становилось плохо, когда мамин голос срывался на крик, а воздух тяжелел, девочка всё равно шептала про себя: «Она просто устала. Она всё равно меня любит». Она не хотела верить, что может не любить.

С пяти лет воспоминания Хионии стали гуще, плотнее. Она начала замечать детали: как бабушка прячет в шкаф последние конфеты, чтобы подарить на Новый год, но в тот год конфет не оказалось. Хиония помнила, как стояла у окна и смотрела на соседских детей, у которых были пакеты с подарками, яркие коробки и счастливые лица. У неё был только тёплый платок, который бабушка связала своими руками, и это было самое дорогое, что у неё было.

Был ещё санаторий — бесплатный, на окраине леса, куда её отправили, чтобы подкормить. Там пахло хвоей и лекарствами, а по утрам давали кашу с маслом — целую ложку, и это казалось роскошью. Бабушка приезжала каждые выходные, привозила яблоки и рассказы про старые времена, про то, как она в детстве бегала по полям и собирала цветы. Мама появилась только раз — в сером пальто, с усталым лицом и коробкой печенья, которое Хиония так и не смогла съесть: оно пахло кораблём, солью и разлукой. В тот день Лира держалась странно: говорила слишком громко, смеялась невпопад, а когда Хиония робко прижалась к ней, неловко

отстранилась, будто прикосновение обожгло. Девочка тогда ничего не сказала, только крепче прижала к себе потрёпанного плюшевого зайца, которого бабушка тайком положила в её сумку.

У Хионии была сводная сестра по линии матери — старшая, на пятнадцать лет старше. Её звали Кира. Она была почти взрослой, когда Хиония только родилась, и смотрела на младшую сестру с лёгкой грустью, будто знала что-то, чего не должна знать девочка. В восемнадцать Кира сбежала из дома и вышла замуж, оставив после себя только записку на столе: «Прости, я не могу здесь дышать». Хиония нашла эту записку случайно, когда искала карандаш в ящике стола, и долго держала её в руках, пытаясь понять, что значит «не могу дышать». Теперь, оглядываясь назад, она вдруг поняла: Кира чувствовала тот самый тяжёлый воздух, который с каждым годом становился всё тяжелее.

Первый школьный год стал для Хионии испытанием, которое едва не сломало её — в прямом смысле. В сентябре она с трудом привыкала к новому ритму: к звонкам, к строгим взглядам учителей, к тому, что теперь нужно сидеть ровно и не вертеться. А в октябре случилась беда: на перемене, когда все бегали и кричали, Хиония поскользнулась на мокром полу и неудачно упала, ударившись спиной о край скамейки. Боль пришла не сразу — сначала был только глухой удар и странное онемение, а потом спина будто превратилась в раскалённый стержень. Её увезли на скорой, а в больнице поставили страшный диагноз: перелом позвоночника в грудном отделе.

Год Хиония провела не в классе, а в больницах, в палатах с белыми стенами и запахом лекарств, в санаториях, где по утрам делали процедуры и учили заново держать спину ровно. За ней неотступно присматривала бабушка: сидела у кровати, читала вслух, расчёсывала спутанные волосы, уговаривала поесть хоть ложку супа. А мама в это время всё глубже уходила в свою беду — пила, не справляясь ни с виной, ни с отчаянием, ни с тем, что её дочь лежит в гипсе и корсетах, а она не может быть той опорой, которая нужна.

Корсетов было несколько: жёсткий, почти железный, для больницы; полегче — для санатория; и совсем тонкий, который надевали под одежду, чтобы спина не «съезжала». Каждый из них казался Хионии панцирем, который одновременно и защищал, и мешал дышать. В санатории она училась заново ходить: медленно, осторожно, прислушиваясь к каждому шороху в собственном теле. И всё это время бабушка была рядом — молчаливая, упрямая, не дававшая никому увидеть, как у неё дрожат руки.

Когда Хиония наконец вернулась в школу, это был уже второй класс, новый класс, новые лица. Она вошла в кабинет, стараясь не сутулиться, но корсет под кофтой всё равно делал движения скованными, а сама она казалась себе неуклюжей и чужой. Вокруг были дети, которые выглядели «круче», чем она: у них были модные резинки для волос, яркие пеналы, куртки с блестящими молниями. Хиония сжимала в руках старый портфель, который бабушка починила, обмотав ручку изолентой, и старалась не смотреть никому в глаза.

Кира, её сводная сестра, старалась помогать, как могла: иногда забирала её после уроков, рассказывала, что в школе сейчас модно, шептала: «Не слушай тех, кто смеётся, ты умнее их всех». Но она редко могла быть рядом — у неё была своя жизнь, своя семья, свои заботы. И Хиония привыкла не просить, а терпеть: терпеть косые взгляды, терпеть шёпот за спиной, терпеть ощущение, что она не вписывается.

К девяти годам ситуация с мамой стала совсем невыносимой. Лира уже не пыталась притворяться, что всё в порядке. Дом превратился в место, где страшно находиться, а редкие моменты тишины казались подозрительными, как затишье перед бурей. Тогда тётя Мира начала собирать документы, чтобы забрать Хионию к себе: ходила по кабинетам, собирала справки, доказывала, что сможет дать девочке дом, заботу и безопасность.

Когда Хионии исполнилось десять, мама умерла. Это случилось тихо, без криков и драм: Лира просто не проснулась. Для Хионии это было как удар, который она почувствовала не

сразу, а спустя дни, когда поняла, что никто больше не будет кричать, но и никто не скажет: «Ты у меня такая умница». Тётя Мира оформила опеку, и Хиония переехала в её светлую квартиру, где по-прежнему пахло лавандой и свежей выпечкой, а на подоконнике всё так же цвела герань.

Она по-прежнему ходила в ту же школу — ей не хотелось снова привыкать к новым лицам, к новым правилам. Но теперь всё было иначе. У Хионии появились вещи, которые не были старыми или заштопанными: новая форма, удобные ботинки, пенал с отделениями. Она больше не чувствовала себя «ниже» остальных, не прятала глаза, не сжималась от каждого смешка. Впервые за долгое время она могла просто учиться, не думая о том, как выглядит, не боясь, что резинка для волос порвётся в самый неподходящий момент.

Когда подошло время окончания начального образования, в жизни Хионии наступил переломный момент — церемония получения дара. Это был не просто праздник, а настоящий ритуал перехода: в большом зале, украшенном гирляндами из сухих трав и светящимися фонариками, стояли ряды скамеек, а в центре возвышалась каменная чаша, над которой вился лёгкий пар. Дети по очереди подходили к чаше, опускали руку в тёплую дымку, и дар откликался — кто-то видел вспышки света, кто-то чувствовал жар или холод, а кто-то слышал шёпот.

Хиония подошла последней, дрожа от волнения. Она боялась, что магия её не примет, что чаша промолчит, и тогда она станет единственной, кто останется без силы. Но стоило её пальцам коснуться пара, как внутри разлилось знакомое тепло — такое же, как от бабушкиного пледа, как от запаха свежеспечённого хлеба, как от тихого голоса тёти Миры, когда та говорила: «Я здесь». Дар отозвался не вспышкой, а уютным, домашним светом. Ей объявили, что её сила — это сила домашней ведьмы: умение чувствовать суть вещей, видеть скрытые свойства трав и минералов, создавать зелья, которые лечат, оберегают, согревают, возвращают спокойствие.

Это был редкий дар — не громкий, не воинственный, не тот, которым хвастаются. Он был тихим, но глубоким, и требовал терпения и внимания к мелочам. Для Хионии он оказался удивительно правильным: в нём было всё, что она знала и любила, — дом, забота, умение превращать простое в важное.

Переход в школу магии стал новым испытанием. Здесь учились дети, которые с младенчества знали, как течёт магия в их жилах, как смешивать ингредиенты, как читать древние знаки. А Хиония едва справлялась с основами: ей приходилось заново учиться видеть в обычном листе не просто зелень, а источник силы, в капле воды — память о пути, в шепотке соли — границу между мирами. Учиться было тяжело, и она часто чувствовала себя чужой среди тех, кто будто родился с готовыми ответами.

Тётя Мира помогала ей, как могла. Она не была магом, но была терпеливой и упрямой. Вместе они разбирали учебники, раскладывали травы по коробочкам, учили наизусть длинные списки ингредиентов. Мира сидела с ней допоздна, пока Хиония переписывала конспекты дрожащей рукой, и тихо говорила: «Ты не хуже их. Просто твой путь другой». К четырнадцати годам Хиония уже не злилась на свою медлительность — она научилась ценить собственный темп, научилась видеть то, чего другие не замечали.

В четырнадцать лет умерла бабушка. Тихо, во сне, будто просто устала держать этот мир на своих плечах. Для Хионии это была потеря, которую нечем было заполнить. Бабушка была той самой нитью, которая связывала её с прошлым, с ощущением, что где-то есть место, где её просто ждут. На похоронах Хиония стояла, крепко держа тётю Миру за руку, и впервые назвала её мамой — не вслух, а про себя, но это слово легло на сердце как что-то правильное, как ключ, который наконец подошёл к замку.

После смерти бабушки всплыл вопрос о доме. Сестра Кира твёрдо заявила, что будет продавать его и не намерена делиться с Хионией ни деньгами, ни воспоминаниями. «Это не твой дом, — говорила она. — Ты там почти не жила». Слова били больно, но ещё больнее

было осознавать, что в них есть доля правды. Однако «новая мама» — Мира — отстояла право Хионии на часть наследства. Она ходила по инстанциям, собирала бумаги, разговаривала с юристами и в итоге добилась, чтобы девочке досталась хотя бы небольшая доля, которая могла стать опорой в будущем.

Годы шли, и Хиония училась не только зельям и травам, но и тому, как держаться на ногах, когда мир шатается. Её дар домашней ведьмы раскрывался постепенно: она научилась чувствовать, когда зелье готово, когда трава отдала всю силу, когда человеку нужно не заклинание, а просто чашка тёплого чая и тихое слово. Она не стремилась быть самой яркой, но становилась самой надёжной: к ней шли за советом, за помощью, за тем, чтобы просто посидеть рядом и почувствовать, что всё будет хорошо.

Выпускной день настал неожиданно. Казалось, только вчера она стояла у ворот школы, маленькая, в слишком большой куртке, и боялась войти внутрь, а теперь она стояла на сцене, в мантии, и слушала, как директор произносит её имя. Бабушка сидела в первом ряду, держа в руках тот самый платок, который когда-то связала для неё, и улыбалась сквозь слёзы. Тётя Мира тоже была здесь — в ярком шарфе, с букетом, который она заранее спрятала за спиной, чтобы сделать сюрприз.

После церемонии она вышла во двор, где выпускники бросали в воздух свои шапочки и смеялись, и на мгновение остановилась, чтобы почувствовать этот момент. Она прошла долгий путь — от маленькой девочки, которая боялась темноты, до девушки, которая

Глава: Колледж, письма и Маркус

После школы магии Хиония поступила в колледж, где наконец-то могла заниматься тем, к чему лежала душа, — углублённо изучать искусство зелий и бытовую магию. Здесь её дар домашней ведьмы раскрывался по-новому: не как что-то скромное и «негромкое», а как сложная, тонкая наука. Она училась видеть в каждой травинке её историю, в каждом порошке — потенциал, в каждой капле настоя — баланс, который легко нарушить одним неверным движением.

Учёба давалась тяжело, но теперь это была приятная тяжесть — та, что приходит, когда делаешь своё. В колледже Хиония впервые почувствовала, что она не «та, которая старается не отставать», а та, у кого есть свой особенный взгляд. Преподаватели отмечали её интуицию: она редко ошибалась в пропорциях, будто чувствовала, как ингредиенты хотят соединиться. А ещё у неё была редкая способность: она могла по запаху настоя почти безошибочно сказать, на каком этапе он сбился, и тут же предложить, как это исправить.

Именно в колледже она нашла тех самых друзей, с которыми потом поддерживала связь долгие годы. Была Лисса — острая на язык, но бесконечно преданная, она вечно таскала с собой стопку книг по алхимии и спорила с преподавателями так, будто от этого зависела судьба мира. Был Тео, тихий парень с вечно испачканными чернилами пальцами, который знал наизусть все старинные рецепты и мог часами рассказывать про историю трав. И была Мира — нет, не тётя, а однокурсница с таким же именем, весёлая, шумная, всегда готовая подставить плечо, если очередной настой взрывался прямо над котлом. Они стали её опорой: вместе зубрили, вместе варили, вместе прятались от строгого мастера зелий, когда что-то шло не так. И даже спустя годы, когда жизнь развела их по разным городам и разным дорогам, они всё равно находили время писать друг другу, делиться новостями, а иногда и просто присылать друг другу сухие веточки или крошечные скляночки с чем-то «на удачу».

Пока Хиония училась, она успела познакомиться и с парнем, с которым поначалу всё казалось многообещающим. Его звали Эдан, он был из семьи магов-алхимиков, умел красиво говорить и знал, как подать себя. Но очень быстро стало ясно, что ему нужна не Хиония, а её образ: тихая, старательная, «правильная» девушка, которая будет красиво стоять рядом и не спорить. А Хиония спорить умела, и молчать, когда было не по душе, — нет. Их отношения рассыпались тихо, без громких сцен, скорее от усталости друг от друга, чем от какой-то

большой драмы. И Хиония вздохнула с облегчением: ей хотелось, чтобы рядом был кто-то, кто видит её настоящую, а не картинку.

А потом в её жизни появились письма. Всё началось с объявления в газете для магов: «Ищу собеседника для переписки. Интересы: история, редкие травы, старые легенды. Без спешки, без ожиданий». Хиония долго смотрела на эти строчки, будто они были заклинанием, которое нужно правильно прочитать. Потом взяла перо, бумагу, капнула на край листа каплю лавандового масла — так ей казалось, что письмо будет «пахнуть» ею, — и написала первое письмо.

Они переписывались долго. Сначала осторожно, по чуть-чуть: он рассказывал про лекции на факультете Истрии, про пыльные архивы, про то, как однажды нашёл в старой книге пометку на полях, сделанную чьей-то дрожащей рукой. Хиония отвечала про свои котлы, про травы, про то, как сложно бывает удержать баланс в зелье, когда кажется, что все ингредиенты против тебя. Постепенно письма становились длиннее, откровеннее. Он делился тем, что не рассказывал никому: как ему бывает тяжело от того, что он не владеет магией так, как другие, как иногда чувствует себя чужим среди магов, хотя и живёт в этом мире. А она рассказывала про бабушку, про тётю Миру, про то, как ей важно, чтобы магия была не про силу, а про заботу.

И в какой-то момент они поняли, что уже не могут обходиться без этих писем. И решили, что пора увидеться вживую.

Им назначили встречу в маленьком кафе на окраине города, где пахло корицей и старым деревом. Хиония пришла первой, села у окна, теребила край шарфа и всё время поглядывала на дверь. Когда вошёл Маркус, она сразу его узнала — не по описанию, а по тому, как он двигался: уверенно, но будто немного настороженно, как человек, который привык быть начеку. Он был красным тёмным эльфом с розовыми крыльями — не огромными, а аккуратными, полупрозрачными, которые он слегка прижимал к спине, будто старался не мешать ими окружающим. В нём чувствовалась сила, но не та, что бросается в глаза, а внутренняя, собранная.

Он улыбнулся, когда увидел её, и эта улыбка сразу сняла напряжение. Они говорили долго: про письма, про учёбу, про мелочи, которые другим казались незначительными, а для них были самыми важными. Оказалось, что Маркус старше Хионии на три года, учится в Институте на факультете Истрии и магией в привычном смысле не владеет. Но у него был свой дар — некромантический. Он умел призывать мёртвые души и отдавать им чёткие команды. Это не было мрачным театром теней и не имело ничего общего с пугающими ритуалами: для Маркуса это был строгий, почти научный процесс, требующий железной концентрации и точного слова. Он не стремился повелевать прошлым — он просил у него помощи, и делал это с уважением, понимая, что каждая вызванная душа — это не инструмент, а свидетель, которому нужно дать ясную задачу и вовремя отпустить.

Их отношения с самого начала были неровными. То они спорили до хрипоты — он считал, что история важнее практики, она доказывала, что без практики история остаётся просто словами. То вдруг находили какой-то общий ритм и могли говорить часами, не замечая, как летит время. То ссорились из-за мелочей, а потом он присылал ей маленький букетик сухих трав с запиской: «Прости. Ты была права». Или она варила ему особое зелье от усталости и оставляла у дверей его общежития, зная, что он вернётся поздно и будет нуждаться в тепле.

Однажды Хиония увидела, как Маркус использует свой дар: в старом архиве, когда нужно было срочно найти одну строчку в полуистлевшем документе, он призвал тень архивариуса, который когда-то хранил эти бумаги. Тень появилась тихо, без вспышек и грохота, ответила на вопрос ровным голосом, а потом растворилась, будто её и не было. Хиония тогда не вздрогнула и не отшатнулась — она просто посмотрела на Маркуса и сказала: «Теперь я понимаю, почему ты так любишь историю. Ты умеешь её слышать». Он улыбнулся и ответил: «А ты умеешь её согревать. Это не хуже».

Это была любовь, которая то вспыхивала, то затихала, но никогда не исчезала совсем. В ней было много шероховатостей, много несогласий, но и много настоящего: умение слышать друг друга даже тогда, когда они говорили на разных языках. И именно эта неровность, эта искренность и делала их связь такой крепкой — такой, что, несмотря на все ссоры и споры, они продолжали идти вперёд, иногда рядом, иногда чуть поодаль, но всегда в одном направлении.

Глава: Фронт, возвращение и перелом

Время шло, и их отношения продолжали жить своей неровной жизнью — то вспыхивая теплом, то остывая в молчании. Они ссорились из-за пустяков: из-за того, что Маркус слишком много времени проводил в архивах, а Хиония злилась, что он «живёт в прошлом»; из-за того, что Хиония вечно опаздывала, потому что не могла уйти, пока не доведёт зелье до нужной прозрачности, а Маркус считал, что «точность — это уважение к человеку». Но потом они мирились: шли в маленькое кафе у старого моста, где подавали горячий шоколад с корицей, или в театр, где на сцене разыгрывали истории про героев, которым всё удавалось слишком легко, и они тихо смеялись над этим.

Для Хионии эти походы были не просто развлечениями. В театре она училась видеть, как люди прячут настоящие чувства за красивыми словами, и это помогало ей лучше понимать собственные эмоции. А в кафе, когда Маркус наконец откладывал свои конспекты и смотрел на неё по-настоящему, без спешки, она чувствовала, что её видят. И этого хватало, чтобы снова поверить: несмотря на все углы и шероховатости, между ними есть что-то настоящее.

Тем временем приближался её выпуск. В колледже она уже не была той робкой девочкой, которая боялась, что её дар сочтут слишком «бытовым». Теперь она знала цену своей магии: её зелья спасали от бессонницы, снимали усталость, возвращали силы тем, кто их почти потерял. На выпускном экзамене она приготовила сложный настой для восстановления энергии — не громкий, не сверкающий, но такой, что мастер, попробовав каплю, кивнул и тихо сказал: «Вот это и есть настоящая сила — та, что не кричит, а держит».

А потом пришла повестка. Маркуса призвали на фронт.

Это был тяжёлый удар. Мир будто стал тише и холоднее, а воздух — гуще, будто каждое слово теперь приходилось проталкивать сквозь невидимую преграду. Хиония не плакала при нём — она знала, что Маркусу важно уходить, зная, что дома всё в порядке. Но когда он ушёл, слёзы пришли сами, тихие и упрямые, и она прятала их, уткнувшись в старый плед, который когда-то связала бабушка.

Он писал письма — короткие, сдержанные, но в каждом было что-то, что согревало: описание рассвета над окопами, запах сырой земли и далёкого дыма, случайную шутку про то, как один солдат пытался сварить кофе на походном огне и чуть не устроил пожар. Хиония отвечала ему длинными письмами, полными бытовых мелочей: про то, как взорвался очередной котёл, про Лиссу, которая опять спорила с преподавателем, про запах трав, который теперь казался ей особенно родным, потому что напоминал о доме. Она вкладывала в письма сухие лепестки лаванды — чтобы он мог вдохнуть и на секунду представить, что рядом есть тепло.

Несколько раз она ездила к нему. Это были короткие, вымученные встречи на линии фронта, в прифронтовых городках, где всё было серым, будто свет выцвел. Они сидели на скамейке у полуразрушенного дома, держались за руки так крепко, будто боялись, что если отпустят, то мир их разъединит. Говорили о пустяках: о том, как пахнет дождь, о том, что в детстве Маркус боялся темноты, а теперь темнота стала его привычным спутником. И в эти моменты тишина между ними была не пустой, а наполненной.

Позже Маркус рассказывал ей: «Некоторые ребята прямо завидовали. Говорили: не ко всем приезжают. Не все помнят, что ты живой, а не просто номер в донесении». Хиония слушала и не знала, плакать ей или гордиться. Она просто кивала и шептала: «Я буду приезжать. Сколько смогу».

Когда Маркус вернулся, город будто вздохнул. Он пришёл домой уставшим, похудевшим, с тенью чего-то тяжёлого в глазах, но всё ещё узнаваемым — тем самым Маркусом, который мог спорить до хрипоты, а потом принести букетик сухих трав с запиской: «Прости. Ты была права».

Сначала всё казалось, что теперь-то всё наладится. Они снова ходили по кафе, снова сидели в театре, но теперь в этих прогулках было что-то неловкое, будто они примеряли старую одежду, которая стала мала. Их ссоры стали чаще и злее, а примирения — короче. За три месяца их отношения будто стёрлись до тонкой, почти невидимой нити, которая вот-вот должна была порваться.

Хиония чувствовала это особенно остро. Её дар, её сила домашней ведьмы, которая всегда была связана с заботой и вниманием к деталям, теперь буквально кричала о переменах в её теле. Она замечала странные вещи: травы, которые раньше пахли просто травами, теперь отдавали чем-то новым, незнакомым; зелья, которые она готовила, вели себя иначе — будто в них появлялся какой-то дополнительный слой силы. Она списывала это на усталость, на стресс, на то, что мир после фронта стал другим. Но сила не умолкала.

В какой-то момент она поняла, что больше не может делать вид, что всё в порядке. Они с Маркусом встретились в их любимом кафе, но вместо привычного тепла между ними висела неловкость, тяжёлая и колючая. Хиония смотрела на чашку перед собой и понимала, что должна сказать то, что давно назревало.

— Маркус, — тихо начала она, — я думаю, нам стоит разойтись. У нас не получается. Мы оба стараемся, но... это не работает.

Маркус замер, будто слова ударили его физически. Он смотрел на неё долго, будто пытался найти в её лице что-то, что опровергнет сказанное. Потом кивнул, медленно, как человек, который принимает неизбежное.

— Ты права, — сказал он наконец. — Мы пытаемся идти в одном направлении, но шагаем вразнобой.

Они разошлись тихо, без криков и обвинений, но от этой тишины было больнее, чем от любой ссоры.

А через несколько дней Хиония узнала правду. Сила больше не намекала — она заявила об этом прямо. Тётя Мира, которая давно замечала перемены в племяннице, мягко спросила:

— Хио, ты в порядке? Ты какая-то... другая.

Хиония хотела отмахнуться, сказать, что просто устала, но слова застряли в горле. Вместо этого она вдруг заплакала — тихо, без всхлипов, просто слёзы покатались сами. Тётя обняла её, прижала к себе, и в этом объятии было столько тепла, что Хиония наконец смогла выдохнуть правду:

— Я беременна.

Мира замерла на мгновение, а потом улыбнулась — так, будто услышала не новость, а обещание чего-то хорошего.

— Ну что ж, — сказала она спокойно, будто это было самое естественное в мире. — Значит, будем делать. Вместе. Ты не одна.

Хиония кивнула, всё ещё не до конца веря в происходящее.

Она должна была рассказать Маркусу. Это было неизбежно. Они встретились снова — на этот раз не в кафе, а на набережной, где ветер гулял между домами и гнал по воде мелкую рябь. Хиония стояла, кутаясь в шарф, и собирала слова, которые никак не хотели складываться в ровные предложения.

— Маркус, — начала она, и голос её дрогнул. — Я... я беременна.

На мгновение мир будто остановился. Маркус смотрел на неё, и в его глазах сменялись эмоции: шок, растерянность, а потом — что-то тёплое, глубокое, похожее на радость, которую он ещё не решался назвать.

— Правда? — спросил он тихо, будто боялся спугнуть эту новость.

— Правда, — ответила Хиония, и впервые за долгое время почувствовала, что говорит не одну правду, а сразу две: и о ребёнке, и о том, что, несмотря на всё, между ними осталось что-то важное.

Маркус шагнул к ней и обнял — крепко, но осторожно, будто она была чем-то хрупким и бесконечно ценным.

— Прости, что у нас не получилось, — прошептал он. — Но это... это ведь тоже часть нас. И я хочу быть здесь. Если ты позволишь.

Хиония прижалась к нему, чувствуя, как ветер треплет волосы, а мир снова становится чуть светлее.

— Позволю, — сказала она. — Но мы начнём заново. Не как раньше. А по-другому.

Глава: Снег на свадьбе

К тому времени Хиония уже была знакома с родителями Маркуса — и знакомство это вышло таким ярким, что Маркус до сих пор припоминал его с хитрой улыбкой. Это случилось почти в самом начале их отношений, на пятом месяце, а Маркус, будто не замечая её волнения, просто взял и привёл её к семье.

— Мам, пап, это Хиония, — сказал он буднично, словно представлял им не будущую жену, а просто подругу, забежавшую на чашку чая.

А Хиония в тот момент будто потеряла голос. Она стояла, сжимала в пальцах край шарфа, пыталась улыбнуться, но улыбка выходила кривой, и вообще казалось, что все слова разом выветрились из головы. Она только и смогла выдать: «Здравствуйте...» — и тут же покраснела так, что, наверное, даже кончики ушей стали пунцовыми.

Мама Маркуса, вовсе не строгая, а на удивление молодая и живая женщина, вдруг рассмеялась — не насмешливо, а по-доброму, искренне. На ней был тёплый вязаный жилет поверх простой рубашки, а в волосах, тёмных с лёгкой проседью, запуталась крошечная игрушка — что-то вроде тряпичного дракончика. Позже Хиония узнала, что это подарок младшего сына: он сделал его на уроке рукоделия и теперь требовал, чтобы мама носила «для защиты».

— Ну, раз здороваешься, значит, не призрак, — сказала она и потянулась за чайником. — Садись. Сейчас мы тебя чаем отогреем, а то ты дрожишь, будто на улице метель, а не середина лета.

Оказалось, что мама Маркуса родила третьего сына совсем недавно — мальчику к тому моменту едва исполнилось два года, и он то и дело врывается в комнату, хватал мамину руку и тянул к очередной «важной» находке: то к камешку, то к сломанной веточке, которую он гордо называл «мечом». Рядом носились старшие братья — один вечно что-то конструировал из кубиков, второй пытался всем раздавать приказы, будто он тут главный.

А папа Маркуса — молчаливый, крепкий, с тёмными крыльями, которые он держал сложенными за спиной, — встал из-за стола, подошёл к Хионии, внимательно посмотрел на неё своими тёмными глазами, а потом вдруг обнял. Крепко, но без напора — так, как обнимают тех, кто сейчас дрожит не от холода, а от волнения, и кому нужно просто почувствовать, что мир не рушится.

— Всё хорошо, — тихо сказал он, едва слышно, будто не для всех, а только для неё. — Ты теперь с нами.

Хиония на секунду прижалась к его плечу, вдохнула запах дерева и дыма — казалось, от него всегда пахло мастерской, где он что-то чинил, строгал, собирал, — и вдруг почувствовала, как напряжение уходит, будто кто-то осторожно разжал пальцы, сжимавшие её изнутри.

Потом он ненадолго отошёл — к младшему сыну, который вдруг расплакался, потому что его «меч» укатился под шкаф. Папа присел на корточки, спокойно, без суеты, достал веточку, отряхнул и протянул мальчику. Тот тут же перестал плакать, важно кивнул и побежал дальше, размахивая своим сокровищем. А папа ещё секунду постоял, проследив за ним взглядом, и

вернулся к столу — такой же спокойный, будто ничего особенного и не произошло. Но Хиония поняла: для него это и было особенным. Для него это и была забота.

В доме царил весёлый хаос, и именно в нём она неожиданно почувствовала себя спокойнее: здесь не ждали безупречности, здесь хватало места и для неловкости, и для тишины, и для смеха.

И когда Маркуса призвали на фронт, к нему поехала вся семья: мама, папа и трое братьев, от мала до велика. Хиония ехала вместе с ними. Это было странное путешествие — в поезде, который грохотал по стёртым рельсам на восток, в вагоне, где пахло углём и чужой тревогой. Мама Маркуса всю дорогу тихо что-то шила, папа сидел неподвижно, поглядывая в окно, а младшие братья то и дело начинали возиться, и их мама осаживала коротким: «Тише, не сейчас».

Они сняли маленький домик на окраине прифронтового городка, где все жили впритык, но никто не жаловался. Мама варила суп из того, что удавалось достать, папа чинил всё, что ломалось, мальчишки носились по двору, а Хиония и мама Маркуса по вечерам сидели у окна, глядя на тусклый свет фонаря и разговаривая обо всём на свете, лишь бы не молчать.

Встречи с Маркусом были короткими, вырванными у войны, и каждая из них стоила той долгой дороги. Они сидели на скамейке у полуразрушенного дома, держались за руки так крепко, будто боялись, что если отпустят, то мир их разъединит. А вокруг — вся его семья, которая приехала за ним.

Позже Маркус рассказывал ей: «Некоторые ребята прямо завидовали. Не то что девушке — тому, что у тебя за спиной стоит вся семья. Не ко всем приезжали. Не все помнят, что ты живой, а не просто номер в донесении».

Так что к моменту свадьбы Хиония знала родителей Маркуса не по рассказам, а по совместным бессонным ночам, по запаху травяного чая, по молчаливым кивкам его отца и по тому, как его мама умела одним спокойным словом снять любую тревогу.

Пять месяцев пролетели стремительно. И вот наступил день свадьбы — 14 ноября, начало зимы. В городе пошёл первый снег: крупные, неторопливые хлопья кружились в воздухе, оседали на крышах, на плечах прохожих, на ветках голых деревьев. Казалось, город сам решил украсить этот день.

Хиония стояла перед зеркалом в маленькой комнатке над трактиром, где готовились к церемонии, и чувствовала, что радость в ней смешивается с неловкостью. Платье сидело хорошо, подчёркивая её изменившуюся фигуру, но не стесняя, и тётя Мира сама подобрала к нему шаль с тонкой вязкой — ту самую, которую когда-то начала вязать бабушка. Хиония провела пальцами по узору, будто пытаясь почувствовать сквозь него тепло тех рук, что когда-то держали спицы.

Но лицо... Лицо её подводило. Кожа покрылась мелкими высыпаниями, и хотя мастерица, помогавшая с образом, старательно замазала их, Хиония всё равно видела каждый прыщик, каждую неровность. Ей казалось, что все гости будут смотреть только на это, что её «неидеальность» затмит и платье, и снег, и сам праздник.

— Ты прекрасна, — тихо сказала тётя Мира, подходя сзади и кладя руки ей на плечи. — Ты сегодня не просто красивая. Ты настоящая. А это куда важнее.

Хиония попыталась улыбнуться, и улыбка получилась не слишком уверенной, но искренней.

Церемония прошла просто, без лишней пышности, но с теплом. Родители Маркуса стояли рядом: мама — с влажными глазами и гордой улыбкой, папа — неподвижный, как скала. И когда Хиония сказала «да», он едва заметно кивнул, а потом, не говоря ни слова, подошёл и снова её обнял — так же крепко и спокойно, как в тот самый первый день. И в этом объятии было всё: и принятие, и защита, и молчаливое обещание: «Ты теперь наша».

После церемонии они гуляли по городу и по парку. Снег всё шёл, и парк будто замер в этой белой тишине. Хиония и Маркус шли рядом, держась за руки, и даже её неловкость постепенно растворялась в этом спокойном дне.

Потом они поехали в дорогой трактир, где уже ждали гости — около сотни человек: друзья Хионии из колледжа, однокурсники Маркуса, его преподаватели, родственники, знакомые, люди, которые были рядом в тяжёлые времена. Столы ломились от угощений, в воздухе витал запах пряностей и горячего хлеба, а в зале было шумно, весело и по-домашнему уютно. Младшие братья Маркуса носились между столами, пока папа не усадил их одним строгим взглядом, а мама Маркуса только улыбалась и качала головой.

Когда первый подъём эмоций немного стих, в углу зала зазвучала музыка. Её отец, немного смущённый, но решительный, сел за имитацию клавишных — незатейливый инструмент, который он сам когда-то собрал из старых деталей, но который умел выдавать удивительно тёплый, живой звук. Он сыграл несколько пробных нот, будто проверяя, не забыла ли комната, как слушать музыку, а потом начал мелодию — простую, но такую, что сразу становилось ясно: она написана не для того, чтобы удивлять, а для того, чтобы согреть.

Под эту музыку Хиония и Маркус вышли в центр зала и начали свой первый танец как супруги. Они не были лучшими танцорами, и порой сбивались с ритма, но им и не нужно было быть безупречными. Им нужно было просто быть рядом, чувствовать, как их шаги совпадают, пусть и не всегда, и как смех проскальзывает между фразами мелодии. Маркус чуть наклонился к Хионии и шептал что-то, от чего она смеялась и тут же пыталась сделать серьёзное лицо, но оно тут же снова расплывалось в улыбку.

А потом, в какой-то момент, когда мелодия стала чуть медленнее и будто глубже, Хионии вдруг захотелось снять вуаль. Не потому, что она мешала, а потому, что в ней было что-то от прощания с прошлым, и ей захотелось не прятать это прощание, а сделать его общим. Она аккуратно сняла вуаль, подошла к группе незамужних девушек — к Лиссе, Мире и другим подругам, чьи глаза светились от счастья за неё, — и протянула им вуаль, а потом взяла за руки и повела в круг.

Это вышло не как заранее отрепетированный ритуал, а как порыв, который тут же подхватили все вокруг. Девушки закружились в лёгком, весёлом танце, передавая вуаль друг другу, словно символ: «Я была такой, теперь ты будь счастлива, а я пойду дальше». Для Хионии это был не отказ от девичьей жизни, а способ поделиться её теплом с теми, кто ещё стоял на пороге.

Лисса, поймав вуаль, приложила её к сердцу и крикнула сквозь смех:

— Обещаю, я буду такой же счастливой, как ты! Ну, или хотя бы буду пытаться!

Все рассмеялись, и в этом смехе было столько света, что даже самые тёмные углы зала будто стали ярче.

Тосты звучали один за другим, кто-то рассказывал истории, кто-то смеялся, кто-то украдкой вытирал слёзы. Мама Маркуса подошла к Хионии, обняла её и тихо сказала:

— Теперь ты часть нашей семьи. И я рада, что мой сын нашёл кого-то, кто не боится быть настоящей. Особенно когда кажется, что всё идёт не так. У меня после третьего сына кожа вообще отказывалась слушаться, так что я тебя очень хорошо понимаю.

Хиония вдруг рассмеялась, и этот смех стёр последние остатки неловкости.

Вечером, когда гости начали расходиться, молодые поднялись в свой номер. За окном всё ещё падал снег, укрывая город белой пеленой, а внутри было тепло и тихо. Хиония подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу и наконец-то выдохнула.

— Знаешь, — тихо сказала она, оборачиваясь к Маркусу, — сегодня я сначала думала, что всё не так. Что я не такая, какой должна быть в этот день. А потом поняла... этот день и не должен быть идеальным. Он должен быть нашим.

Маркус подошёл, обнял её, прижал к себе, и она почувствовала, как уходит последняя тревога.

— Он и есть наш, — прошептал он. — И я люблю его за это. За снег, за смех, за то, что ты рядом. Даже когда тебе кажется, что что-то не так. Особенно тогда.

Они стояли у окна, смотрели, как город засыпает под первым снегом, и знали: впереди ещё много дней, много разговоров, много споров и примирений. Но этот день — их первый общий день как семьи — они запомнят навсегда.

Глава: Первый день вместе

Когда за гостями закрылась дверь, в трактире стало непривычно тихо — будто весь шум, смех и звон бокалов унёс с собой уходящий вечер. Хиония и Маркус остались одни в уютном номере под самой крышей. За окном всё ещё сыпал снег, но теперь он не кружился в весёлом вихре, а лежал спокойно, укутывая город в мягкую белую шаль.

Первым делом они принялись разбирать подарки и пересчитывать деньги. Коробки и свёртки стояли на столе и на подоконнике — кто-то принёс изящные чашки, кто-то — пучки сухих трав, кто-то — книги с закладками, будто заранее знал, что эти страницы будут особенно важны. Деньги аккуратно складывали в шкатулку, которую тётя Мира ещё до свадьбы отдала Хионии: «Пусть будет ваш первый семейный запас. На что-нибудь хорошее».

Маркус считал купюры, хмурил брови, будто от серьёзности момента, а потом вдруг улыбнулся и тихо сказал:

— Знаешь, мне кажется, тут хватит на котёл побольше. Или на целую полку для трав.

Хиония рассмеялась, чувствуя, как внутри разливается тихое, тёплое счастье: не от денег, а от того, что он сразу подумал о её делах, о её мире.

— Или на оба, — шепнула она, присаживаясь рядом. — Пусть будет и котёл, и полка.

Потом она вдруг зевнула — тихо, прикрыв рот ладонью, но Маркус сразу это заметил.

— Ты устала, — сказал он уже не шутливо, а мягко, по-настоящему заботливо. — Давай помогу.

Хиония кивнула, не скрывая облегчения. Платье с корсетом, хоть и сидело красиво, за весь день успело стать почти невыносимым: корсет стягивал, швы натирали, а волосы, уложенные в сложную причёску, тянули голову вниз, будто стали вдвое тяжелее.

Она повернулась к нему спиной, чуть склонив голову, и прошептала:

— Помоги расплести... и снять всё это. Я больше не могу.

Маркус подошёл ближе, осторожно, будто боялся что-то сломать. Сначала он принялся за шпильки — вынимал их одну за другой, и каждая, падая на пол с тихим стуком, будто снимала с неё ещё один слой свадебного дня. Потом распустил косы, и волосы тяжёлой волной упали ей на плечи и спину. Хиония едва слышно вздохнула — так, будто впервые за день смогла по-настоящему вдохнуть.

С платьем пришлось повозиться: застёжки и крючки не хотели поддаваться, корсет держался упрямо, будто хотел сохранить торжественность момента. Но Маркус не торопился, не злился, не вздыхал — он делал всё спокойно, терпеливо, иногда тихо спрашивал: «Так нормально? Не больно?» — и Хиония только кивала, чувствуя, как с каждым расстёгнутым крючком с неё сползает не только ткань, но и напряжение, копившееся неделями, месяцами, годами.

Наконец она осталась в простой нижней сорочке, свободной и мягкой, и тут же обхватила себя руками, будто только теперь почувствовала, как сильно замёрзла под всеми этими слоями шёлка и кружева.

— Прости, что так долго, — тихо сказал Маркус, складывая платье на стул и аккуратно расправляя складки.

— Не извиняйся, — улыбнулась Хиония. — Ты всё сделал правильно.

Она подошла к кровати, села на край, потом легла, вытянув ноги, и закрыла глаза. И тут же снова открыла, чтобы посмотреть на него.

— Ты тоже устал, — сказала она. — Ложись. Мы наконец-то можем просто... быть. Без спешки.

Он улыбнулся, снял куртку, сел рядом, потом лёг, не слишком близко, но так, чтобы чувствовать её тепло. Они лежали рядом, смотрели в потолок, где в свете лампы плясали тени от снежинок, и молчали. И это молчание было не пустым, а полным: в нём были и смех гостей, и музыка, и танец, и вуаль, кружащаяся в руках подруг, и тихий голос его отца, и чашка чая у тёти Миры, и даже тревога, которая когда-то сжимала сердце Хионии.

А потом она заснула — сразу, глубоко, без снов, будто весь этот день наконец-то отпустил её. Маркус ещё немного полежал, прислушиваясь к её ровному дыханию, потом осторожно накрыл её краем одеяла, улыбнулся своим мыслям и тоже уснул.

Утром их разбудил солнечный луч — редкий, но яркий, пробравшийся сквозь снежные тучи и упавший прямо на подушку. Хиония открыла глаза, сначала не поняла, где она, потом вспомнила: свадьба, снег, танец, вуаль, подарки, тихие руки Маркуса, расплетающие её косы... И улыбнулась.

Рядом тихо дышал Маркус. Она осторожно, чтобы не разбудить, провела пальцами по его плечу, потом села, потянулась, чувствуя, как приятно, когда ничего не стягивает и не давит.

В стоимость номера входил завтрак, и вскоре в дверь постучали: служанка принесла поднос с горячей кашей, булочками, мёдом и чаем. Пахло так уютно, так по-домашнему, что Хиония вдруг почувствовала, как сильно соскучилась по дому — по их с тётёй Мирой маленькой квартире, по запаху трав, по скрипу половиц, по чашке, которую она всегда ставила на одно и то же место.

Они позавтракали, смеясь над тем, как неловко держать ложки в чужой комнате, как странно есть из чужих тарелок, будто это уже не совсем они, а какие-то другие, праздничные версии самих себя. Потом собрали вещи: шкатулку с деньгами, подарки, аккуратно завернутые в бумагу, платье, которое Маркус бережно упаковал, чтобы Хиония могла потом показать его дочке и сказать: «Вот в этом я была, когда мы с папой стали семьёй».

И наконец вышли на улицу. Город уже проснулся: снег хрустел под ногами, воздух был колючим, но чистым, а солнце, хоть и не грело по-летнему, светило так, будто специально старалось сделать этот день светлее.

Они шли по знакомым улицам, держась за руки, и Хиония чувствовала, как с каждым шагом её волнение уходит, уступая место чему-то новому — не страху перед будущим, а предвкушению. Скоро они придут домой, и тётя Мира встретит их, обнимет, скажет: «Ну вот и всё. Теперь вы вместе», и заварит чай, и они будут сидеть на кухне, рассказывать про вчерашний день, смеяться и иногда замолкать, чтобы просто послушать, как тикают часы и потрескивает огонь в печи.

Когда они подошли к знакомому крыльцу, Хиония остановилась на секунду, глубоко вдохнула морозный воздух и тихо сказала:

— Мы дома.

Маркус улыбнулся, крепче сжал её руку и кивнул.

— Да, — сказал он. — Теперь это и мой дом тоже.

И они поднялись по ступенькам, открыли дверь — и попали в тепло, в запах трав и свежего хлеба, в голос тёти Миры:

— Ну наконец-то! А я уж думала, вы решили остаться в трактире навсегда!

Хиония рассмеялась, бросилась к тётё, обняла её, и в этом объятии было всё: и благодарность, и любовь, и чувство, что теперь всё будет хорошо.

Теперь они будут жить здесь — втроём, а скоро, совсем скоро — вчетвером. И каждый день будет своим, особенным, наполненным бытом и магией, ссорами и примирениями, тихими вечерами и громкими разговорами. Но главное — они будут вместе. И этого было достаточно.

Глава: «Между лекциями и схватками»

В первое время после колледжа жизнь текла неровно, будто Хиония шла по брусчатке в расшатанных башмаках — то спотыкалась, то вдруг выправлялась и шагала увереннее. Она поступила в Институт магии, и беременность не стала поводом отступить. Скорее наоборот: ей хотелось доказать, что она может всё — и учиться, и носить под сердцем ребёнка, и не сломаться под тяжестью чужих взглядов.

Учёба давалась тяжело, но не только из-за усталости. В коридорах института витал особый дух — дух «настоящих магов», где слово «женщина» звучало почти как оговорка, будто само по себе отменяло право на силу. Были преподаватели, которые смотрели на неё с искренним интересом, подсказывали, тянули вперёд. А были такие, чей взгляд будто ставил печать: «Тебе тут не место».

Особенно Хиония запомнила одного. Мужчина, заведующий кафедрой бытовой алхимии, говорил с ней так, будто она пришла не за знаниями, а за советом, как лучше варить суп. Однажды, после очередной едкой реплики, он бросил, глядя поверх её головы:

— Зачем ты ходишь на занятия, если всё равно в декрете, и ты женщина? Вот и сиди дома.

Эти слова врезались в память, как заноза, которую невозможно вытащить одним движением. Они не просто ранили — они заставляли сжимать кулаки и стискивать зубы, чтобы не расплакаться прямо посреди аудитории. Хиония тогда поняла: видеть его каждую неделю — это не испытание, а пытка. И она выбрала другой путь: не ходить на его лекции, готовиться в одиночку, а на сдачу прийти сразу к комиссии. Пусть это выглядело дерзко, почти вызывающе, но так она хотя бы сохраняла остатки гордости.

Сдача прошла неожиданно спокойно. Она стояла перед заведующим кафедрой, руки чуть дрожали, но голос звучал твёрдо. Отвечала чётко, без лишних слов, будто каждое предложение было кирпичиком в стене, которую она строила вокруг себя. Когда он поставил ей «четыре», Хиония едва сдержала улыбку. Она-то думала, что максимум на что может рассчитывать, — это тройка, а тут... Это была маленькая победа, но в тот момент она ощущалась как триумф.

Тем временем жизнь вне стен института шла своим чередом. Маркус работал, но не по специальности, о которой когда-то мечтал. Он ушёл на фабрику по изготовлению мебели — туда, где платили стабильно, пусть и не так, как хотелось бы. Дни складывались из подъёма до рассвета, дороги сквозь промозглый туман, шума станков и запаха лака и стружки. Он приносил домой усталость, введшуюся в кожу, и деньги, которых хватало, чтобы сводить концы с концами.

Но Хиония была недовольна. Не столько самой работой, сколько тем, что Маркус будто смирился, будто перестал мечтать. Ей казалось, что он сдался, и эта мысль разъедала изнутри. В редкие вечера, когда они оставались вдвоём, между ними вспыхивали ссоры — горячие, горькие, оставляющие после себя тишину, в которой было слышно, как тикают часы. В один из таких вечеров Хиония крикнула, сама не понимая, откуда в ней взялась эта чёрная волна:

— Может, мне вообще избавиться от ребёнка? Ты ведь не хочешь ничего менять!

Слова повисли в воздухе, тяжёлые, как камни. Маркус побледнел, будто она ударила его. А она сама испугалась того, что сказала, но гордость не давала взять слова назад. В ту ночь она ушла из дома, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла. Шла по тёмной улице, не разбирая дороги, пока холод не пробрался под пальто, и только тогда остановилась, дрожа всем телом.

Её никто не понимал. Ни подруги, ни даже Маркус, который смотрел на неё теперь с тревогой и обидой. Но была одна, кто всегда оставался на её стороне, — тётя. Та самая, что когда-то забрала её с улицы, когда мать кричала, а дом казался чужим. Тётя не читала нотаций, не говорила «успокойся» или «ты не права». Она просто открывала дверь, обнимала и позволяла плакать столько, сколько нужно.

— Ты просто устала, — тихо говорила она, глядя Хионию по волосам. — И боишься. Это нормально. Но ты не одна. Слышишь? Не одна.

И Хиония цеплялась за эти слова, как за якорь. Она любила тётю так сильно, что иногда это чувство казалось слишком большим для одного сердца. Для неё она была не просто родственницей — она была той самой опорой, которую не могли заменить ни дипломы, ни оценки, ни чужие мнения.

Дни складывались в недели, недели — в месяцы. Живот становился всё заметнее, а терпение — всё тоньше. Бывали хорошие дни: когда Маркус приносил ей тёплый пирог, когда тётя смешила её историями из юности, когда на лекции кто-то из преподавателей хвалил её работу. И были дни, когда хотелось просто закрыть глаза и проспаться до весны.

А весна всё же пришла. Сначала робко — с каплей и серыми лужами, потом уверенно — с зелёными почками и тёплым ветром. И в самом начале этой весны, когда воздух уже пах не холодом, а жизнью, родилась девочка.

Хиония смотрела на неё и не могла поверить, что это чудо — её. Крошечные пальчики, сморщенное личико, тихий, требовательный крик, который вдруг сделал весь мир правильным. В тот момент все ссоры, все обиды, все горькие слова показались незначительными, словно их унесло ветром.

Маркус стоял рядом, бледный, растерянный, но счастливый. Он осторожно коснулся дочкиной ручки и прошептал:

— Она такая маленькая...

Тётя тихо плакала в углу, улыбаясь сквозь слёзы.

А Хиония, наконец, почувствовала, что всё было не зря. Что каждый шаг, каждая слеза, каждая победа и каждая ошибка вели её сюда — к этому мгновению, когда жизнь наконец-то обрела смысл.

Глава: «Четыре года между пелёнками и лекциями»

Учёба не закончилась с рождением дочки — она просто перетекла в другой ритм, тяжёлый, изматывающий, будто Хиония училась не в Институте магии, а штурмовала неприступную крепость, держа в одной руке учебник, а в другой — младенца. Каждый день был выстроен по минутам, и любая осечка грозила обрушить всю хрупкую конструкцию.

В институте друзей у неё почти не было. Магическая среда оставалась холодной к тем, кто выбивался из привычного шаблона, а Хиония с ребёнком на руках казалась всем чем-то вроде помехи в стройной системе обучения. Лишь одна подруга из колледжа пошла с ней за компанией, да и та всё чаще вздыхала, глядя, как Хиония, сидя в углу библиотеки, качает коляску одной ногой и пишет конспект другой.

— Ты вообще спишь? — как-то спросила она, протягивая Хионии горячий чай в бумажном стаканчике.

— Когда получится, — усмехнулась Хиония, поправляя сползшее одеяло на дочке. — А если не получится — значит, не судьба.

С некоторыми преподавателями ей всё же удалось договориться. Не из жалости — она не хотела жалости, — а из уважения к её упорству. Посещение лекций сократили, но взамен навалили столько домашней работы, что казалось, будто ей поручили разобрать целую библиотеку в одиночку. Бывало, Хиония сидела за столом до глубокой ночи, пока дочка спала, а потом ещё час проверяла, дышит ли она, прислушиваясь к каждому шороху.

Тётя была её якорем. Она не просто сидела с внучкой — она брала на себя всё, что могло освободить Хионии хоть немного времени: кормила, купала, укачивала, а потом тихо подсказывала, как решить особенно упрямую задачу по алхимической кинетике. Иногда они сидели рядом, тётя что-то штопала или вязала, а Хиония бормотала формулы, пытаясь уложить их в голове.

— Ты справишься, — говорила тётя, не поднимая глаз от клубка пряжи. — Ты всегда справлялась.

И Хиония справлялась. Ездил на сдачи, сдавала зачёты, защищала курсовые, пока тётя сидела дома с малышкой. Четыре года так прошло — четыре года, когда каждый день был маленьким подвигом, а каждая сданная работа — маленькой победой.

К четвёртому году стало чуть легче. Дочку отдали в садик, и у Хионии наконец-то появилась возможность посещать занятия целиком, не разрываясь между лекциями и кормлением. Она ходила по коридорам института уже не как тень, крадущаяся между парами, а как полноценная студентка, которая заслужила своё место. И когда настал день выпуска, она держала диплом в руках и чувствовала не только гордость, но и странное облегчение — будто сбросила с плеч огромный, годами копившийся груз.

А вот отношения с Маркусом становились всё тоньше, как лёд в конце зимы: вроде держится, но уже слышно, как трещит. Они жили рядом, но будто в разных комнатах, даже когда находились в одной. Маркус приходил с работы, усталый, молчаливый, и Хиония ловила себя на мысли, что не знает, о чём с ним говорить. Несколько раз она заикалась о разводе, но слова застревали в горле, словно она сама не верила, что готова их произнести.

Иногда Хиония смотрела на семью тёти и думала, как странно устроена жизнь. Муж тётя, которого она сначала едва замечала, постепенно стал для неё чем-то вроде тихого, надёжного ориентира. Он не говорил громких слов, не пытался быть идеальным отцом, но делал простые, важные вещи: готовил ужин, чинил сломанное, мог утром сделать завтрак, если все спешили. Только лет через десять он стал для Хионии настоящим отцом — не по крови, а по поступкам.

Она помнила, как однажды, когда ей было лет двадцать, она сидела на кухне, уставшая после сессии, и он, не спрашивая, поставил перед ней тарелку с тёплыми оладьями.

— Ешь, — сказал он просто. — А то совсем себя загоняешь.

И в этом было столько заботы, что у Хионии на глаза навернулись слёзы.

Годы шли. Хионии исполнилось двадцать девять. Дочке недавно исполнилось семь, они только успели отпраздновать её день рождения — с тортом, свечками и смешными подарками, которые ребёнок искренне считал самыми лучшими. А через два дня случилось то, чего никто не ждал.

Отец ушёл тихо. Его нашла жена в комнате, лежащим у кровати. Хиония была в доме, в соседней комнате, но не услышала ни шороха, ни вдоха — ничего. Последние четыре года он много пил, и печень в конце концов не выдержала. Смерть пришла без предупреждения, без драмы, почти буднично, и от этого было ещё тяжелее.

Когда тётя вышла из комнаты, бледная, с дрожащими руками, Хиония сразу всё поняла по её лицу. Она подошла, обняла тётю, и они стояли так долго, не говоря ни слова, потому что никакие слова не могли сделать эту тишину менее оглушительной.

Дочка бегала где-то по дому, ещё ничего не зная, счастливая после праздника. И Хиония подумала, что теперь ей придётся быть сильнее, чем когда-либо, — не только для себя, но и для неё. Жизнь не останавливалась, даже когда рушились самые надёжные опоры. И, как бы ни было тяжело, впереди всё равно ждали новые дни, новые решения и новые пути.

Глава: Отец ушёл тихо.

Хиония была в соседней комнате — перебирала травы, раскладывала по пучкам, считала про себя, сколько мяты хватит на неделю. Слышала, как Мила бежит по дому, напевает что-то счастливое после праздника, как скрипят половицы, как где-то за стеной тяжело, хрипло дышит отец — так он дышал последние четыре года. Потом наступила тишина. Хиония не придавала ей значения: отец часто задрёмывал.

А потом дверь его комнаты открылась. Вышла мама — бледная, с дрожащими руками, будто пыталась удержать что-то невидимое и не справлялась. Хиония встала, травы посыпались на пол, но она не обернулась. Подошла, обняла. Они стояли долго, не говоря ни слова, потому что никакие слова не могли сделать эту тишину менее оглушительной.

В комнате отца он лежал у кровати — на боку, как будто соскользнул, хотел встать и не смог. Лицо спокойное, будто просто уснул. Только не проснулся. Последние четыре года он много пил, методично, каждый день. Печень держалась долго, а потом не выдержала. Смерть пришла буднично, без драмы, и от этого было тяжелее всего: не было ни прощальных слов, ни шанса сказать «я тебя люблю». Просто был человек — и вот его нет.

Мила ещё ничего не знала. Выбежала из комнаты, раскрасневшаяся, счастливая, остановилась, увидев их.

— Почему вы такие?

Хиония присела перед дочкой, взяла за плечи, посмотрела в доверчивые глаза.

— Милочка, дедушка уснул. И не проснётся. Ему больше не больно.

Мила нахмурилась, пытаясь сложить два несовместимых факта. Потом нижняя губа дрогнула, и Хиония успела подхватить дочку до того, как та начала плакать. Мила ревела громко, безутешно, и в этом крике было столько детской боли, что Хиония чуть не сломалась. Но не сломалась: прижимала дочку к себе, шептала: «Я тут, я никуда не уйду» — и думала, что теперь ей нужно быть сильнее, чем когда-либо. Не только для себя. Для Милы. Для мамы. Для всех, кто остался в этом доме.

Мила переживала тяжело, но по-детски: горе накрывало волной и отступало. Через две недели она снова смеялась. Через месяц рисовала дедушку — яркого, в шапке, с верёвкой в руках. Складывала его в свой внутренний сундучок, доставала, когда хотелось вспомнить. Потеря никуда не делась — просто легла на полку и перестала мешать жить.

А вот мама Хионии не могла сложить своё горе на полку. Она перестала есть, перестала спать, сидела у окна и смотрела в никуда. Хиония взяла на себя весь дом: готовила, стирала, убирала, следила за Милой, за садиком, за уроками. Спина ныла с утра, к вечеру становилась острой, будто между позвонками вставляли раскалённые монеты.

Спина тревожила Хионию с одиннадцати лет. Тогда врач хмурился, щупал позвоночник, говорил, что нельзя носить тяжёлое. Вправляли, как могли — мануальная терапия, массажи, корсеты, которые она носила под одеждой и потела так, что рубашка прилипала к телу. Не вылечили — залатали. Как дедушкина крыша, которую латали каждый сезон.

Когда Хиония забеременела, врачи были категоричны: нельзя, опасно, позвоночник может не выдержать. Хиония выслушала, кивнула и всё равно родила. Беременность далась легче, чем ожидали: может, тело привыкло к боли, может, просто повезло. Но после родов три дня она не могла встать с кровати, и Маркус носил Милу к ней сам.

Теперь, когда она тянула на себе дом, дочку и маму, спина напоминала о себе каждый час. Но Хиония не жаловалась. Меняла позу, наклонялась осторожно, варила себе растирания из того, что знала.

Мила видела, что бабушке тяжело, и пыталась её взбодрить: приносила рисунки, рассказывала длинные истории про кота под крыльцом, однажды сварила «лекарство» из воды, мяты и чего-то липкого. Бабушка выпила и впервые за долгое время искренне улыбнулась.

Так они прожили полгода.

Мама Хионии продолжала работать — хотя это становилось всё тяжелее. Она была экологом: следила за состоянием лесов, проверяла ручьи, составляла отчёты о травах и животных. А ещё она была феей — и её сила очень помогала в работе: она чувствовала, когда лес болеет, когда вода становится злой, когда земля устаёт. Сила позволяла ей видеть то, что скрыто, и слышать то, что не слышно другим. Но теперь даже эта сила не могла скрыть, как тяжело ей даётся каждый шаг.

Она приходила на работу рано, уходила поздно, старалась не показывать, что ей плохо. Если кто-то спрашивал: «Ты в порядке?», отвечала: «Да», и тут же утыкалась в бумаги. Но Хиония замечала: как мама опирается на край стола, когда думает, что никто не видит; как

замирает посреди фразы, потому что в глазах темнеет; как прячет в карман платок, чтобы вытереть пот.

Однажды Хиония пришла забрать её после работы. В кабинете горел тусклый светильник, мама сидела над кипой бумаг и не двигалась, просто смотрела в одну точку. Строчки шли не по линейке, а куда-то вбок, будто их тянули на верёвочке. Хиония тихо подошла, положила руку ей на плечо. Мама вздрогнула, будто очнулась.

— Ты чего тут? — сказала она, стараясь говорить бодро. — Я ещё немного, вот эту накладную доделаю.

— Мам, ты уже три раза одно и то же перечитываешь. Давай я помогу.

Мама хотела отказаться — гордость не позволяла признать, что сил не хватает. Но в тот вечер просто кивнула. Хиония села рядом, взяла тетрадь, начала разбирать цифры и слова, а мама тихо подсказывала, где что лежит, кому сколько отгрузили.

Они сидели так почти час. Потом Хиония закрыла тетрадь, убрала бумаги в ящик и сказала:

— Всё. На сегодня хватит.

Мама не спорила. Встала, оперлась на стол, потом на Хионию, и они пошли домой медленно, шаг за шагом, будто дорога стала длиннее, чем раньше.

На следующий день начальник пришёл сам — невысокий, сутулый мужчина с добрыми, усталыми глазами. Он сел на кухне, взял чашку чая и сказал прямо:

— Я не выгоняю. Но и обманывать не буду: ей там тяжело. Пусть посидит дома, сколько нужно. Если потом сможет — вернётся. Если нет — я пойму.

Мама стояла в дверях, слушала, и Хиония видела, как она сжимает и разжимает пальцы.

— Я могу ещё, — тихо сказала она. — Я справлюсь.

Начальник посмотрел на неё долго, внимательно.

— Знаю, что можешь, — сказал он. — Но не обязана. Пусть хоть немного будет так, чтобы ты не должна была быть сильной.

Он ушёл, оставив на столе конверт с деньгами. Мама хотела вернуть, но Хиония остановила:

— Пусть будет. Нам пригодится.

И мама впервые не стала спорить.

Потом у матери Хио начались проблемы со здоровьем — те, что уже нельзя было скрывать. Барахлило дыхание, темнело в глазах, зубы крошились один за другим. Она наблюдалась у врачей, пила огромное количество трав и зелий. Кухонная полка превратилась в маленькую аптеку: пузырьки, коробочки, связки сушёных трав, мешочки с порошками. Хиония варила некоторые сама — то, чему научилась от мамы, когда та ещё была здорова.

Летом они поехали в путешествие, чтобы сменить обстановку. Не далеко — в городок у озера, где сдавался домик с верандой. Мама сидела там по утрам, закутавшись в шаль, и смотрела на озеро, и дышала медленно, осторожно, будто училась этому заново. Мила бегала по берегу, собирала камни, кормила уток. Маркус спал до полудня и выглядел отдохнувшим. Хиония гуляла вдоль берега, и спина почти не ныла — может, от воздуха, может, от того, что некуда было спешить.

Они провели там неделю. Ели простую еду, купались, смотрели на звёзды, которых в городе не видно. Мама улыбалась — не часто, но искренне. Мила засыпала на веранде, укрытая пледом, и бормотала во сне: «Ещё пять минуточек...»

Позднее Хиония будет вспоминать эту поездку как одну из лучших и последних, когда они были вместе по-настоящему — без боли, без спешки, без страха.

Осенью Мила пошла в первый класс — в ту самую школу, где к тому времени уже работала Хиония. Это было единственное место рядом с домом и единственное, где Хиония могла меньше напрягать спину.

Первый день выдался тёплым, с лёгким ветром, который трепал ленточки на Милиной косичке. Рядом с ней — вся семья: бабушка, папа и мама. Бабушка шла медленно, тяжело, но шла. Папа нёс ранец, хотя Мила твердила, что сама справится. Мама держала дочку за руку и чувствовала, как маленькие пальцы сжимаются и разжимаются — волнение, нетерпение, страх, всё вместе.

У ворот школы Мила остановилась. Посмотрела на здание — большое, незнакомое, с высокими окнами. Потом на бабушку. Потом на маму.

— А ты правда будешь тут?

— Правда, — ответила Хиония. — На втором этаже, кабинет двенадцать. Если станет страшно — приходи.

Мила кивнула, поправила ранец, выпрямилась — маленькая, решительная — и пошла.

После садика Миле было непривычно и тяжело. В садике играли, ели, спали — здесь нужно было сидеть, слушать, писать, отвечать. Она не понимала, зачем писать ровно, если буквы и так понятны, почему нельзя встать посреди урока и подойти к окну, почему домашнее задание нужно делать сегодня, а не завтра.

Начались истерики: дома после школы Мила бросала ранец, садилась на пол и рыдала, говорила, что она глупая, что у неё ничего не получается. В школе замолкала на уроке, прятала лицо в ладонях, не отвечала, когда вызывали к доске.

Хиония пыталась говорить, объяснять, обнимать — но Мила вырывалась и убегала в другую комнату. Тогда за дело взялась бабушка.

Несмотря на одышку и темнеющие глаза, мама Хионии оказалась тем, кого Мила слушала. Может, потому что бабушка не давила, не торопила. Она просто садилась рядом, открывала прописи и говорила:

— Покажи, где трудно. Вот тут? Давай вместе. Ты ведёшь линию — я держу твою руку. Кривая? Ничего. Завтра будет ровнее. А послезавтра — ещё ровнее. Погода ведь тоже не сразу становится хорошей.

Мила слушала. Доверяла. Садилась рядом с бабушкой и выводила буквы — кривые, неуверенные, но всё лучше, чем вчера. Бабушка помогала и с уроками, и с поведением: учила не бросать ранец, а класть его на место; не кричать, а говорить; не прятать лицо, а поднимать его.

Хиония видела это и думала: мать, которая сама еле держится, находит силы учить внучку жить. Может, в этом и был смысл — не в том, чтобы быть здоровой, а в том, чтобы быть нужной.

Прошёл год. Год учёбы Милы и год работы Хионии в школе.

Мила изменилась — медленно, незаметно, как меняются деревья. Истерики стали реже, потом сошли на нет. Она научилась сидеть на уроках, поднимать руку, отвечать, даже когда страшно. Завела подругу — Эмму, тихую девочку с круглыми очками, которая тоже любила рисовать. Они рисовали вместе на переменах и обменивались рисунками, как взрослые обмениваются письмами.

Мила записалась в кружок изучения языка — английского, который ей давался легко, — и в кружок рукоделия. Рукоделие стало её настоящей страстью: она вышивала, шила, плела. Маленькие пальцы, которые раньше не могли удержать перо ровно, теперь уверенно вели иглу сквозь ткань. Первая вышивка — кривой цветок с лишним лепестком — заняла место в рамке на стене у Хионии в кабинете. Каждый, кто заходил, слышал:

— Это моя дочь сделала. Ей семь лет. Посмотрите, какой лепесток. Лишний, конечно. Но самый красивый.

Школа стала для Хионии не просто работой. Она обнаружила, что умеет быть с детьми — не учить, а именно быть: сидеть рядом, слушать, помогать, когда трудно, и отходить в сторону, когда не нужно. Младшие приходили к ней, когда ссорились; старшие — когда им было плохо дома. Она варила для них успокоительные настои — мяту с мелиссой, пустырник с ромашкой — и давала в бумажных стаканчиках, и дети пили, морщились от горечи, но потом улыбались.

А дома всё было сложнее. Мама Хионии пила свои зелья, ходила по врачам, прятала боль за улыбкой, которая никого не обманывала. Но Хиония уже знала: прятать больше нечего. Оставалось только держаться — всем вместе, в одном доме, под одной крышей.

И они держались. День за днём. Шаг за шагом. Потому что дом — это не стены и не крыша. Дом — это когда ты знаешь, что за стеной спит дочка с прямой спиной, в соседней комнате дышит муж, а в дальней комнате мама, которая сегодня смогла довязать шарф и сказала: «Завтра я помогу тебе с обедом».

И этого было достаточно, чтобы продолжать.

Глава: «Лето, что стало испытанием»

Лето в том году выдалось на редкость душным — будто воздух застыл, пропитанный запахом нагретого кирпича и цветущей липы, и каждое движение давалось с усилием. Хиония стояла у окна, теребя край фартука, и смотрела на пустую дорогу, по которой вот-вот должны были появиться дальние родственники. Ещё вчера всё казалось простым: мама ворчала, что варенье стоит не там, дочка Мила рассыпала по полу бусины, а в доме пахло свежей выпечкой и немного — пылью, которую никто не спешил вытирать. Тогда казалось, что это и есть счастье: привычная суэта, родные стены, мамин голос, который то ругал, то тут же смягчался.

А сегодня дом будто затаился. И тишина была не уютной, а тревожной.

Накануне всё пошло наперекосяк с самого вечера. Мама вдруг схватилась за бок, побледнела, и лицо её стало каким-то чужим, будто кто-то стёр с него привычные черты. Хиония помнила только обрывки: дрожащие пальцы, которые она пыталась удержать, резкий запах спирта из аптечки, голос фельдшера: «Нужно срочно в больницу». И мамини последние слова, брошенные уже у дверей, когда её укладывали на носилки:

— Не отменяй гостей... Они столько ехали... Скажи, что я просто приболела.

Хиония тогда кивнула, хотя внутри всё кричало: «Не уходи!» Но она кивнула, потому что мама так велела, а мамини слова всегда были законом.

И вот теперь она стояла у окна и ждала. Гости должны были приехать с минуты на минуту, а дом, хоть и был убран с вечера, казался ей недостаточно чистым, недостаточно уютным, недостаточно... правильным. Будто сама реальность сдвинулась на полшага в сторону, и всё теперь сидело криво.

Мила подбежала, потянула Хионию за подол:

— Мам, а мы будем печь пирог? Тётя говорила, что любит с яблоками.

Хиония улыбнулась, но улыбка вышла натянутой, как плохо пришитая пуговица.

— Будем, милая. Только сначала надо всё успеть.

Она снова посмотрела на дорогу. И тут из-за поворота показалась повозка, гружёная чемоданами и корзинами, из которых выглядывали перья и свёртки. Сердце ухнуло вниз.

Гости приехали.

Следующие дни слились для Хионии в один бесконечный круг. В семь утра она уже стояла у плиты, мешая кашу, чтобы Мила поела тёплой. Потом — быстрая уборка, пока дочка возилась с тряпичной куколкой в углу. Потом — стирка: простыни, полотенца, скатерти, всё, что пахло пылью дороги и должно было снова стать чистым и домашним. Хиония двигалась, как заводная кукла: руки делали, а голова пыталась не думать. Не думать о маме в палате, о том, как та лежала с закрытыми глазами, о том, что «просто приболела» звучало всё менее убедительно.

Родственники сыпали вопросами, приносили сладости, рассказывали истории, смеялись, шутили, просили показать город. Хиония кивала, улыбалась, разливала чай, отвечала: «Мама приболела, скоро вернётся». И сама себе не верила.

Каждый день она собирала Милу, брала корзинку с пирожками и шла в больницу. В коридоре пахло лекарствами и чем-то безнадежным, но стоило маме открыть глаза и слабо улыбнуться, как весь мир снова становился чуть светлее.

— Ты не устала? — спрашивала мама, глядя на неё из подушки.

— Нет, всё хорошо, — отвечала Хиония, хотя ноги гудели, а спина ныла так, будто её стянули корсетом.

Однажды приехала двоюродная сестра мамы — фея без дара и силы. Она не умела варить зелья, не чувствовала духов дома, не видела ауры, но зато умела слушать. Молча сидела рядом, когда Хиония наконец-то выдыхала и шептала:

— Я боюсь, что она не вернётся.

Сестра только клала тёплую ладонь ей на плечо и говорила:

— Ты держишь дом. Это уже много.

В какой-то момент в доме появилась ещё одна тень — Аполинария, сводная сестра, старшая дочка мужа тёти. Она приходила тихо, без лишних слов, забирала из рук Хионии тяжёлое ведро, брала тряпку и молча протирала пол там, где Хиония уже прошла. И в этом молчании было столько поддержки, что Хиония иногда едва сдерживала слёзы. Аполинария стала для неё той самой старшей сестрой, которой так не хватало: строгой, но заботливой, требовательной, но справедливой.

Когда гостей наконец проводили, а дом снова стал тихим, Хиония поехала за мамой. Та вышла из больницы медленно, опираясь на её руку, и, казалось, сама стала легче, будто болезнь забрала не только силы, но и часть её веса.

— Теперь всё будет хорошо, — сказала мама, когда они сели в повозку.

— Да, — кивнула Хиония, не в силах сказать больше ни слова.

Но мир не собирался быть добрым так просто.

Через неделю после отъезда гостей мама умерла у Хионии на руках. Это случилось быстро, без долгих прощаний, без возможности сказать всё, что накопилось. Просто в какой-то момент её дыхание стало тише, а потом и вовсе затихло. Хиония держала её руку, смотрела в бледное лицо и не могла поверить, что это конец.

Это была вторая потеря родной матери. Первую Хиония пережила между десятью и одиннадцатью годами, когда жила у тёти: тогда у мамы отказали ноги в больнице из-за алкоголизма, и она ушла из её жизни не смертью, а молчанием. Но эта потеря была другой — острой, горячей, будто кто-то вырвал кусок из груди и унёс его с собой.

Вечером, когда всё стихло, Хиония села на пол в пустой комнате, прижала к себе Милу и прошептала:

— Мы справимся. Мы обязательно справимся.

И в этот момент ей вдруг показалось, что духи дома, те самые тихие хранители углов и порогов, тихо вздохнули где-то над её плечом — будто кивнули в знак согласия.

Глава: «Лето, которого не было»

В эту часть лета просто не существовало. Оно было — и его не было. Солнце по-прежнему поднималось над крышами, липа цвела, воздух дрожал от зноя, но для Хионии всё это стало фоном, пустым и безразличным, как шум ветра за закрытыми ставнями.

Она лишилась всех — всех, кого ещё можно было потерять. Оставались, конечно, те, кто не давал ей упасть: Маркус, её муж. Он делал всё, что было в его силах, старался быть опорой там, где земля будто уходила из-под ног. Он не говорил громких слов, не пытался «утешить любой ценой», а просто брал на себя то, что мог: ходил за хлебом, грел воду для

стирки, тихо укладывал Милу спать, когда у Хионии не оставалось сил даже на сказку. И в этом его молчаливом старании было больше поддержки, чем в любых клятвах.

Рядом была и Аполинария. Она сама только что похоронила отца, а теперь ещё и мачеху — и этот двойной удар словно сблизил их, сделал ненужными лишние объяснения. Аполинария приходила, садилась на кухне, молча брала в руки тряпку или кастрюлю и начинала делать то, что нужно прямо сейчас. Иногда они с Хионией переглядывались — и в этом взгляде было всё: и горе, и усталость, и тихое «я здесь». Отношения у них и раньше были хорошими, но теперь в них появилась особая прочность, будто их скрепили не словами, а общей бедой.

Маму подхоронили к её мужу — на том же участке, под старым вязом, где давно стояла простая каменная плита с его именем. Теперь они снова были вместе, пусть и в тишине земли. С этого дня Хиония и Мила стали наследницами её состояния. Им досталась жилплощадь, в которой они и так жили все вместе, — теперь она стала их домом по праву. Но это право не приносило радости. По утрам в комнатах ощущалось особенно пусто и холодно, будто стены помнили всех, кто ушёл, и теперь хранили эту память как тяжёлый груз.

Хиония готовила Милу к следующему классу. Нужно было купить тетради, перья, новый фартук, который не жалел бы движений, потому что Мила вечно куда-то бежала, тянулась, хотела всё увидеть и потрогать. И Хиония ходила по лавкам, выбирала самое простое и крепкое, старалась не думать о том, что бабушка, которая раньше сама водила Милу за руку и ворчала на слишком яркие ленты, теперь не увидит, как её внучка снова идёт в школу.

Во второй класс Милу провожали уже мама и папа. Это был особенный день — не столько из-за новых тетрадей, сколько из-за того, что теперь всё должно было быть «как раньше», только без бабушки. Мила, хоть и была ребёнком, чувствовала эту пустоту. Она души в бабушке не чаяла: помнила её руки, её запах, её ворчание, когда Мила слишком громко хлопала дверями. И теперь, собираясь, она вдруг остановилась у порога, посмотрела на дверь, будто ждала, что та откроется и бабушка выйдет, поправит ей бант и скажет: «Ну, не стой, опоздаешь!» Но дверь оставалась закрытой, и в глазах девочки на мгновение мелькнуло такое горе, что у Хионии сжалось сердце.

Чтобы хоть немного отвлечь дочку, Хиония купила ей подарок к школе — двух хомячков. Они были крошечными, пушистыми, с круглыми чёрными глазами и вечно занятыми лапками. Мила пришла в восторг: тут же придумала им имена, соорудила домик из коробки, бегала показывать их каждому встречному. И это действительно помогало: в заботах о питомцах, в кормлении, уборке опилок, в наблюдении за тем, как они бегают по клетке, горе не исчезало, но становилось чуть тише, отодвигалось на шаг назад.

Сама Хиония переживала так сильно, что её в прямом смысле шатало. Бывали дни, когда она просыпалась с ощущением, будто мир накренился, и каждый шаг давался с трудом. Помогала только работа: там, среди дел, среди чужих просьб и задач, можно было на время перестать быть «той, у которой всё рухнуло», и стать просто Хионией, которая знает, как заварить нужное зелье, как подобрать нужные слова, как сделать так, чтобы всё работало. Она сосредотачивалась на мелочах — на точном весе трав, на порядке действий, на том, чтобы не перепутать этапы, — и именно в этой сосредоточенности находила опору.

Однажды вечером, когда Мила уже спала, а хомячки тихо шуршали в своей клетке, Хиония сидела на кухне, глядя на тусклый свет лампы. Маркус подошёл, сел рядом, не стал ничего спрашивать. Просто протянул ей чашку тёплого чая и тихо сказал:

— Ты не обязана быть сильной каждую минуту.

И от этих простых слов у Хионии вдруг защипало в глазах, но она не заплакала. Вместо этого она кивнула, сделала глоток и прошептала:

— Просто... мне нужно, чтобы хоть что-то шло правильно. Хоть что-то.

— Тогда начнём с малого, — сказал Маркус. — Завтра снова пойдём провожать Милу. И будем делать это столько раз, сколько нужно.

И Хиония поняла: возможно, именно в этом и есть спасение — не в том, чтобы забыть, а в том, чтобы идти вперёд шаг за шагом, держа за руку тех, кто рядом.

Глава: «Два года спустя»

С тех пор прошло два года. Время не залечило, но научилось прятать острые края под слоем повседневности. Хиония наконец-то оформила все бумаги по наследству — без лишней суеты, без торжественности, просто поставила подписи там, где требовалось, и забрала папку с документами, которая теперь лежала на полке, рядом с учебниками Милы и старыми письмами. Дом остался тем же: те же скрипучие половицы, те же окна, в которые по утрам било солнце, те же углы, где будто до сих пор витал запах маминых пирогов. Только теперь он был их — её и Милы. Официально.

Они продолжали жить там же, в этом доме, который одновременно был и убежищем, и напоминанием. Дальние родственники по-прежнему навещали, писали письма, присылали открытки с видами незнакомых городов. Только теперь все ответы, все приглашения, все «да, приезжайте в субботу» и «нет, в этот день не получится» шли от Хионии. Она научилась держать эту нить: вежливо, но твёрдо, без лишних эмоций, но и без холодности, которой иногда хотелось отгородиться от всего мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.